

ПУСКОМЪ КЪ ТАТУ ИКА

А. П.

ЧЕХОВ

Историческое



АНТОН ЧЕХОВ

Печенег

«Public Domain»

1897

Чехов А. П.

Печенег / А. П. Чехов — «Public Domain», 1897

Антон Павлович Чехов Печенег

Жмухин, Иван Абрамыч, отставной казачий офицер, служивший когда-то на Кавказе, а теперь проживающий у себя на хуторе, бывший когда-то молодым, здоровым, сильным, а теперь старый, сухой и сутулый, с мохнатыми бровями и с седыми, зеленоватыми усами, – как-то в жаркий летний день возвращался из города к себе на хутор. В городе он говел и писал у нотариуса завещание (недели две назад с ним приключился легкий удар), и теперь в вагоне все время, пока он ехал, его не покидали грустные, серьезные мысли о близкой смерти, о суете сует, о бренности всего земного. На станции Провалье, – а такая есть на Донецкой дороге, – в его вагон вошел белокурый господин, средних лет, пухлый, с поношенным портфелем, и сел против. Разговорились.

– Да-с, – говорил Иван Абрамыч, задумчиво глядя в окно. – Жениться никогда не поздно. Я сам женился, когда мне было сорок восемь лет, говорили – поздно, а вышло не поздно и не рано, а так, лучше бы вовсе не жениться. Жена скоро прискучает всякому, да не всякий правду скажет, потому что, знаете ли, несчастной семейной жизни стыдятся и скрывают ее. Иной около жены – «Маня, Маня», а если бы его воля, то он бы эту Маню в мешок да в воду. С женой скука, одна глупость. Да и с детьми не лучше, смею вас уверить. У меня их двое, подлецов. Учить их тут в степи негде, отдать в Новочеркасск в ученье – денег нет, и живут они тут, как волчата. Того и гляди, зарежут кого на дороге.

Белокурый господин слушал внимательно, отвечал на вопросы негромко и кратко и, по-видимому, был тихого, скромного нрава. Он назвал себя частным поверенным и сказал, что едет в деревню Дюевку по делу.

– Да ведь это в девяти верстах от меня, господи ты боже мой! – сказал Жмухин таким тоном, как будто с ним спорили. – Но позвольте, на станции вы теперь не найдете лошадей. По-моему, для вас самое лучшее, знаете ли, сейчас поехать ко мне, у меня переночуете, знаете ли, а утром и поедете на моих лошадях, с богом.

Частный поверенный подумал и согласился.

Когда приехали на станцию, солнце уже стояло низко над степью. Всю дорогу от станции до хутора молчали: говорить мешала тряская езда. Тарантас прыгал, визжал и, казалось, рыдал, точно его прыжки причиняли ему сильную боль, и частный поверенный, которому было очень неудобно сидеть, с тоской посматривал вперед: не видать ли хутора. Проехали верст восемь, и вдаль показался невысокий дом и двор, обнесенный забором из темного плитняка; крыша на доме зеленая, штукатурка облупилась, а окна маленькие, узенькие, точно прищуренные глаза. Хутор стоял на припеке, и нигде кругом не было видно ни воды, ни деревьев. Назывался он у соседей-помещиков и у мужиков «Печенегов хутор». Много лет назад какой-то проезжий землемер, ночевавший на хуторе, проговорил всю ночь с Иваном Абрамычем, остался недоволен и утром, уезжая, сказал ему сурово: «Вы, сударь мой, печенег!» Отсюда и пошло «Печенегов хутор», и это прозвище еще более укрепилось, когда дети Жмухина подросли и стали совершать набеги на соседние сады и бахчи. А самого Ивана Абрамыча звали «знаете ли», так как он говорил обыкновенно очень много и часто употреблял это «знаете ли».

Во дворе около сарая стояли сыновья Жмухина: один лет девятнадцати, другой – подросток, оба босые, без шапок; и как раз в то время, когда тарантас въезжал во двор, младший высоко подбросил курицу, которая закудаhtала и полетела, описывая в воздухе дугу; старший выстрелил из ружья, и курица, убитая, ударилась о землю.

– Это мои учатся стрелять влет, – сказал Жмухин.

В сенях приехавших встретила женщина, маленькая, худенькая, с бледным лицом, еще молодая и красивая; по платью ее можно было принять за прислугу.

– А это, позвольте представить, – сказал Жмухин, – мать моих сукиных сынов. Ну, Любовь Осиповна, – обратился он к ней, – поворачивайся, мать, угощай гостя. Ужинать давай! Живо!

Дом состоял из двух половин; в одной была «зала» и рядом с ней спальня старика Жмухина – комнаты душные, с низкими потолками и со множеством мух и ос, а в другой была кухня, в которой стряпали, стирали, кормили работников; здесь же под скамьями сидели на яйцах гусыни и индейки, и здесь же находились постели Любови Осиповны и ее обоих сыновей. Мебель в зале была некрашенная, срубленная, очевидно, плотником; на стенах висели ружья, ягдташи, нагайки, и вся эта старая дрянь давно уже заржавела и казалась серой от пыли. Ни одной картины, в углу темная доска, которая когда-то была иконой.

Молодая баба, хохлушка, накрыла на стол и подала ветчину, потом борщ. Гость отказался от водки и стал есть только хлеб и огурцы.

– А ветчинки что ж? – спросил Жмухин.

– Благодарю, не ем, – ответил гость. – Я вообще не ем мяса.

– Почему так?

– Я вегетарианец. Убивать животных – это противно моим убеждениям.

Жмухин подумал минуту и потом сказал медленно, со вздохом:

– Да... Так... В городе я тоже видел одного, который не ест мяса. Это теперь такая вера пошла. Что ж? Это хорошо. Не все же резать и стрелять, знаете ли, надо когда-нибудь и угомониться, дать покой и тварям. Грех убивать, грех, – что и говорить. Иной раз подстрелишь зайца, ранишь его в ногу, а он кричит, словно ребенок. Значит, больно!

– Конечно, больно. Животные так же страдают, как и люди.

– Это верно, – согласился Жмухин. – Я все это понимаю очень хорошо, – продолжал он, думая, – только вот, признаться, одного не могу понять: если, положим, знаете ли, все люди перестанут есть мясо, то куда денутся тогда домашние животные, например, куры и гуси?

– Куры и гуси будут жить на воле, как дикие.

– Теперь понимаю. В самом деле, живут вороны и галки и обходятся же без нас. Да... И куры, и гуси, и зайчики, и овечки, все будут жить на воле, радоваться, знаете ли, и бога прославлять, и не будут они нас бояться. Настанет мир и тишина. Только вот, знаете ли, одного не могу понять, – продолжал Жмухин, взглянув на ветчину. – Со свиньями как быть? Куда их?

– И они так же, как все, то есть и они на воле.

– Так. Да. Но позвольте, ведь если их не резать, то они размножатся, знаете ли, тогда прощайся с лугами и с огородами. Ведь свинья, ежели пустить ее на волю и не присмотреть за ней, все вам попортит в один день. Свинья и есть свинья, и недаром ее свиньей прозвали...

Поужинали. Жмухин встал из-за стола и долго ходил по комнате и все говорил, говорил... Он любил поговорить о чем-нибудь важном и серьезном и любил подумать; да и хотелось на старости лет остановиться на чем-нибудь, успокоиться, чтобы не так страшно было умирать. Хотелось кротости, душевной тишины и уверенности в себе, как у этого гостя, который вот наелся огурцов и хлеба и думает, что от этого стал совершеннее; сидит он на сундуке, здоровый, пухлый, молчит и терпеливо скучает, и в сумерках, когда взглянешь на него из сеней, похож на большой булыжник, который не сдвинешь с места. Имеет человек в жизни зацепку – и хорошо ему.

Жмухин через сени вышел на крыльцо, и потом слышно было, как он вздыхал и в раздумье говорил самому себе: «Да... так». Уже темнело, и на небе показывались там и сям звезды. В комнатах еще не зажигали огня. Кто-то бесшумно, как тень, вошел в залу и остановился около двери. Это была Любовь Осиповна, жена Жмухина.

– Вы из города? – спросила она робко, не глядя на гостя.

– Да, я живу в городе.

– Может, вы по ученой части, господин, поучите нас, будьте такие добрые. Нам надо бы прошение подать.

– Куда? – спросил гость.

– У нас два сына, господин хороший, и давно пора отдавать их в ученье, а у нас никто не бывает и не с кем посоветоваться. А сама я ничего не знаю. Потому, если не учить, то их возьмут на службу простыми казаками. Нехорошо, господин! Неграмотные, хуже мужиков, и сами же Иван Абрамыч брезгают, не пускают их в комнаты. А разве они виноваты? Хоть бы младшенького отдать в ученье, право, а то так жалко! – сказала она протяжно, и голос у нее дрогнул; и казалось невероятным, что у такой маленькой и молодой женщины есть уже взрослые дети. – Ах, так жалко!

– Ничего ты, мать, не понимаешь, и не твое это дело, – сказал Жмухин, показываясь в дверях. – Не приставай к гостю со своими разговорами дикими. Уходи, мать!

Любовь Осиповна вышла и в сенях повторила еще раз тонким голоском:

– Ах, так жалко!

Гостю постлали в зале на диване и, чтобы ему не было темно, зажгли лампадку. Жмухин лег у себя в спальне. И, лежа, он думал о своей душе, о старости, о недавнем ударе, который так напугал и живо напомнил о смерти. Он любил пофилософствовать, оставаясь с самим собой, в тишине, и тогда ему казалось, что он очень серьезный, глубокий человек и что на этом свете его занимают одни только важные вопросы. И теперь он все думал, и ему хотелось остановиться на какой-нибудь одной мысли, непохожей на другие, значительной, которая была бы руководством в жизни, и хотелось придумать для себя какие-нибудь правила, чтобы и жизнь свою сделать такую же серьезной и глубокой, как он сам. Вот хорошо бы и ему, старику, совсем отказаться от мяса, от разных излишеств. Время, когда люди не будут убивать друг друга и животных, рано или поздно настанет, иначе и быть не может, и он воображал себе это время и ясно представлял самого себя, живущего в мире со всеми животными, и вдруг опять вспомнил про свиней, и у него в голове все перепуталось.

– История, господи помилуй, – пробормотал он, тяжело вздыхая. – Вы спите? – спросил он.

– Нет. Жмухин встал с постели и остановился в дверях на пороге, в одной сорочке, показывая гостю свои ноги, жилистые и сухие, как палки.

– Вот теперь, знаете ли, – начал он, – пошли разные телеграфы, телефоны и разные там чудеса, одним словом, но люди не стали лучше. Говорят, что в наше время, лет 30—40 назад, люди были грубые, жестокие; но теперь разве не то же самое? Действительно, в мое время жили без церемоний. Помню, на Кавказе, когда мы целых четыре месяца стояли на одной речке без всякого дела, – я тогда еще урядником был, – произошла история, вроде как бы роман. Как раз на берегу той речки, знаете ли, где стояла наша сотня, был похоронен один князек, которого мы же убили незадолго. И по ночам, знаете ли, ходила вдова-княгиня на могилку и плакала. Уж она голосит-голосит, уж она стонет-стонет, и такую на нас тоску нагоняла, что не спим да и все. Одну ночь не спим, другую не спим; ну, надоело. И, рассуждая по здравому смыслу, нельзя же в самом деле не спать черт знает из-за чего, извините за выражение. Взяли мы эту княгиню, высекли ее – и перестала ходить. Вот вам. Теперь, конечно, уж не та категория людей, и не секут, и живут чище, и наук стало больше, но, знаете ли, душа все та же, никакой перемены. Вот, извольте ли видеть, живет здесь у нас помещик один. У него шахты, знаете ли. Работают у него беспаспортные, разные бродяги, которым деваться некуда. По субботам надо расчет давать рабочим, а платить-то не хочется, знаете ли, денег жалко. Вот он и нашел себе такого приказчика, тоже из бродяг, хотя и в шляпе ходит. «Ты, говорит, им ничего не плати, ни копейки; они тебя будут бить и пускай, говорит, бьют, а ты терпи, я за это каждую субботу буду тебе по десяти рублей платить». Вот вечером в субботу, порядком, как водится,

рабочие приходят за расчетом; приказчик им: «Нету!» Ну, слово за слово, начинается брань, потасовка... Бьют, бьют его, и руками и ногами, – знаете ли, народ озверелый с голоду-то, – бьют до бесчувствия, а потом и уходят кто куда. Хозяин велит отливать приказчика водой, потом ему десять рублей в зубы, а тот и берет, да еще рад, потому, в сущности, не то, что за десять, он и за трешницу согласится хоть в петлю. Да... А в понедельник приходит новая партия рабочих; приходят, деваться некуда... В субботу опять та же история...

Гость повернулся на другой бок, лицом к спинке дивана, и пробормотал что-то.

– А вот другой пример, – продолжал Жмухин. – Как-то была тут сибирская язва, знаете ли; скотина дохла, я вам скажу, как мухи, и ветеринары тут ездили, и строго было приказано, чтобы палый скот зарывать подальше, глубоко в землю, заливать известкой и прочее, знаете ли, на основании науки. Издохла и у меня лошадь. Я со всякими предосторожностями зарыл ее и одной известки вылил на нее пудов десять. И что ж вы думаете? Мои молодцы, знаете ли, сыночки мои милые, ночью вырыли лошадь, содрали с нее шкуру и продали за три рубля. Вот вам. Значит, люди не стали лучше, и, значит, как волка ни корми, а он все в лес смотрит. Вот вам. Подумать-то есть о чем! А? Как вы полагаете?

На одной стороне в окнах, в щелях ставен, вспыхивала молния. Было душно перед грозой, кусались комары, и Жмухин, лежа у себя и размышляя, охал, стонал и говорил самому себе: «Да... так» – и уснуть было невозможно. Где-то очень-очень далеко ворчал гром.

– Вы спите?

– Нет, – ответил гость.

Жмухин встал и через залу и сени, стуча своими пятками, прошел в кухню – воды напиться.

– Хуже всего на свете, знаете ли, глупость, – говорил он немного погодя, возвращаясь с ковшом. – Моя Любовь Осиповна стоит на коленках и богу молится. Молится каждую ночь, знаете ли, и поклоны бухает, первое, чтоб детей в ученье отдать; боится, что дети пойдут на службу простыми казаками и их будут там поперек спины шашками лупить. Но чтобы учить, надо деньги, а где их взять? Хоть лбом пол прошиби, коли нет, так и нет. Второе, молится, потому что, знаете ли, всякая женщина думает, что несчастнее ее нет на свете. Я человек откровенный и скрывать от вас ничего не желаю. Она из бедного семейства, поповна, колокольного звания, так сказать; женился я на ней, когда ей было 17 лет, и ее выдали за меня больше из-за того, что было есть нечего, нужда, злыдни, а у меня все-таки, видите, земля, хозяйство, ну, как-никак, все-таки офицер; лестно ей было за меня идти, знаете ли. В первый день, как поженились, она плакала и потом все двадцать лет плакала – глаза на мокром месте. И все она сидит и думает, думает. А о чем думает, спрашивается? О чем женщина может думать? Ни о чем. Я женщину, признаться, не считаю за человека.

Частный поверенный поднялся порывисто и сел.

– Извините, мне что-то душно стало, – сказал он. – Я выйду.

Жмухин, продолжая говорить о женщинах, в сенях вынул засов, и оба вышли наружу. Как раз над двором плыла по небу полная луна, и при лунном свете дом и сараи казались белее, чем днем; и по траве между черными тенями протянулись яркие полосы света, тоже белые. Направо далеко видна степь, над нею тихо горят звезды – и все таинственно, бесконечно далеко, точно смотришь в глубокую пропасть; а налево над степью навалились одна на другую тяжелые гроззовые тучи, черные, как сажа; края их освещены луной, и кажется, что там горы с белым снегом на вершинах, темные леса, море; вспыхивает молния, доносится тихий гром, и кажется, что в горах идет сражение...

Около самой усадьбы маленькая ночная сова кричит монотонно: «Сплю! сплю!»

– Который теперь час? – спросил гость.

– Второй в начале.

– Как еще далеко до рассвета, однако!

Вернулись в дом и опять легли. Надо было спать, и обыкновенно перед дождем так славно спится, но старику захотелось важных, серьезных мыслей; хотелось ему не просто думать, а размышлять. И он размышлял о том, что хорошо бы, ввиду близкой смерти, ради души, прекратить эту праздность, которая так незаметно и бесследно поглощает дни за днями, годы за годами; придумать бы для себя какой-нибудь подвиг, например, пойти бы пешком куда-нибудь далеко-далеко, отказаться бы от мяса, как этот молодой человек. И он опять воображал себе то время, когда не будут убивать животных, воображал ясно, отчетливо, точно сам переживал это время; но вдруг в голове опять все перепуталось и все стало неясно.

Гроза прошла мимо, но тучи захватили краем, дождь шел и тихо стучал по крыше. Жмухин встал и, охая от старости, потягиваясь, посмотрел в залу. Заметив, что гость не спит, он сказал:

– У нас на Кавказе, знаете ли, один полковник тоже был вегетарианцем. Не ел мяса, никогда не охотился и не позволял своим людям рыбу ловить. Конечно, я понимаю. Всякое животное должно жить на свободе, пользоваться жизнью; только не понимаю, как может свинья ходить, где ей угодно, без присмотра...

Гость поднялся и сел. Его бледное, помятое лицо выражало досаду и усталость; видно было, что он замучился и только кротость и деликатность души мешали ему высказать на словах свою досаду.

– Уже рассвет, – сказал он кротко. – Велите, пожалуйста, дать мне лошадь.

– Что так? Погодите, дождь пройдет.

– Нет, прошу вас, – проговорил гость умоляюще, с испугом. – Мне необходимо сейчас же.

И он стал торопливо одеваться.

Когда подали лошадь, уже восходило солнце. Дождь только что перестал, облака быстро бежали, голубых просветов становилось все больше и больше на небе. Внизу в лужицах робко отсвечивали первые лучи. Частный поверенный проходил со своим портфелем через сени, чтобы сесть в тарантас, и в это время жена Жмухина, бледная и, казалось, бледнее, чем вчера, заплаканная, смотрела на него внимательно, не мигая, с наивным выражением, как у девочки, и было видно по ее скорбному лицу, что она завидует его свободе, – ах, с каким бы наслаждением она сама уехала отсюда! – и что ей нужно сказать ему что-то, должно быть, спросить совета насчет детей. И какая жалкая! Это не жена, не хозяйка, даже не прислуга, а скорее приживалка, бедная, никому не нужная родственница, ничтожество... Ее муж, суетясь, не переставая разговаривать и все забегая вперед, провожал гостя, а она пугливо и виновато жалась к стене и все ждала удобной минуты, чтобы заговорить.

– Милости просим в другой раз! – повторял старик без умолку. – Чем богаты, тем и рады, знаете ли!

Гость сел в тарантас торопливо, видимо с большим удовольствием и точно боясь, что вот-вот его задержат. Тарантас по-вчерашнему запрыгал, завизжал, застучало неистово ведро, привязанное к задку. Частный поверенный оглянулся на Жмухина с каким-то особенным выражением; было похоже, что ему, как когда-то землемеру, захотелось обозвать его печенегом или как-нибудь иначе, но кротость пересилила, он удержался и ничего не сказал. Но в воротах вдруг не вытерпел, приподнялся и крикнул громко и сердито:

– Вы мне надоели!

И скрылся за воротами.

Около сарая стояли сыновья Жмухина: старший держал ружье, у младшего был в руках серый петушок с ярким красивым гребнем. Младший изо всей силы подбросил петушка, тот взлетел выше дома и перевернулся в воздухе, как голубь; старший выстрелил, и петушок упал, как камень.

Старик, смущенный, не зная, как и чем объяснить этот странный, неожиданный окрик гостя, не спеша пошел в дом. И, сидя тут за столом, он размышлял долго о теперешнем направ-

лении умов, о всеобщей безнравственности, о телеграфе, о телефоне, о велосипедах, о том, как все это не нужно, успокоился мало-помалу, потом закусил не спеша, выпил пять стаканов чаю и лег спать.

1897